

жет стать как «первый льстец», так и «любитель человечества» (I, 320, 321), «муж твердый и предприимчивый, на истинну или на прельщение <...>» (I, 261).

В Пугачеве, очевидно, и увидел Радищев такого «льстеца», предприимчивого «на прельщение». О сторонниках Пугачева он пишет: «Прельщенные грубым самозванцем текут ему во след, и ничего толико нежелают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому неумыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселия мщениа, нежели пользы сотрясения уз» (I, 320).

Для Радищева цель революции — «польза сотрясения уз», установление народного суверенитета, республиканской формы правления. Пугачев в роли нового царя всея Руси был для русского писателя не более приемлем, чем для автора «Здравого смысла» какой-нибудь Мазаньелло во главе независимой Америки. Как верно заметил Г. Макогоненко, Радищев сумел увидеть слабые стороны пугачевского восстания, «и прежде всего политически вредную веру восставших в „хорошего царя“. Для Радищева, ненавистника монархической власти, никакой царь, ни „добрый“, ни просвещенный, ни „мужицкий“, не был приемлем»²³.

Отметим и существенные различия в конкретном преломлении идеи «законности» революции у обоих авторов. В условиях революционной ситуации в Америке «законный» путь единственен и теоретически вполне осуществим — такова позиция автора памфлета «Здравый смысл».

Радищев же, с его редким для просветительской эпохи историческим чутьем, в условиях российского деспотизма и беззакония не только предвидит, но и оправдывает путь «незаконный» — восстание «черни», по терминологии автора «Здравого смысла». Весьма заметна эволюция взглядов Радищева от «Вольности» к «Путешествию», от идиллических картин царствия восторжествовавшего на обломках монархии Закона до весьма реальной кровавой крестьянской революции в России.

В «Путешествии» не только монарх — преграда народному освобождению, как в «Вольности» и в «Здравом смысле». Владельцы крепостных душ добровольно не расстанутся с ними даже под угрозой нового пугачевского бунта, несущего гибель помещикам; тем более не обратят они внимания на призывы к совести и человеколюбию. И все потому, что «един предразсудок мгновения, единая корысть <...> отъемлет у нас взор и в темноте беснующим, нас уподобляет» (I, 314). Высокие истины, высказанные «любителем человечества» в хотиловском «Проекте», «немогут быть непонятны» просвещенным «разумам» тех, кому он адресован, «но деяния ваши, в исполнении сих истин, препинаемы, сказали уже мы, предразсуждением и корыстию» (I, 315).

Дух собственности, «корысть» движет и самыми крупными чиновниками государственного аппарата: «Свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения», — убеждает Радищев (I, 352).

Не общенародное восстание против монархического режима, как в «Вольности», а крестьянская революция, со всеми страшными последствиями, которые несет она классу собственников, но поистине благотворная для страны, — таким видится Радищеву путь освобождения России.

Отчаянным жертвенным призывом звучат слова писателя, предрекающие грядущую вольность: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы безчеловечных своих господ, и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их изторгнулися великие мужи, для заступления избитаго племени; но

²³ Макогоненко Г. П. От [Фонвизина до Пушкина. М., 1969, с. 99.